

П. Н. САКУЛИН

Психология Белинского

Да, грустно стоять на могиле человека, которому природа, как проклятие, дала слишком большие требования на жизнь, чтобы их могло удовлетворить что-нибудь легко получаемое, и который изо всех сил рвался к счастью — и знал одно горе, одно страдание. Это история моей жизни.

Из письма Белинского к Боткину от 1839 года

1

Поводом для нашей статьи послужил этюд Ю. И. Айхенвальда о В. Г. Белинском*. Автор «Силуэтов» пожелал сказать «свою правду» об отце русской критики; он захотел разрушить «благочестивое сказание» о нем, сорвать маску с «легендарного» Белинского. Этот новый подвиг современного критика произвел немалый эффект прежде всего своей крайней неожиданностью: состояние вопроса о Белинском теперь уж таково, что, казалось, в серьезной работе не может быть места для полного отрицания его исторической заслуги или для превратного истолкования его внутренней жизни.

В свое время Белинский был предметом ожесточенных нападок, и его значение провозглашалось абсолютно вредным; но уже самая сила той злобы, какую возбуждал он против себя, свидетельствовала о степени его влияния.

Погодин, по его словам, не мог «простить Белинскому дерзких и невежественных выходов против славян, против древней русской истории, против русских писателей прошедшего столетия, против начал русской жизни»; он охотно рассыпал упреки своему противнику в отсутствии научных сведений, но и он признавал в Белинском «воображение довольно живое, сердце пылкое и, может быть, теплое, ум понятливый, несколько природного вкуса и легкость писать»¹. А в 1861 году Погодин с прискорбием констатировал факт, что «большая часть нынешних критик есть только слабый отголосок его (т. е. Белинского) мнений, убеждений и верований, за исключением его таланта»².

* В «Р<усских> вед<омостях>» 1913 г., № 228, от 4 окт., уже была напечатана наша статья «Белинский — миф». Этюд Ю. И. Айхенвальда появился во втором издании III выпуска его «Силуэтов русских писателей» (Изд. Т-ва Мир. М., 1913).

У славянофилов было достаточно оснований не любить Белинского, и они не скрывали своей неприязни к нему. В 1859 году И. С. Аксаков писал Соханской: «Когда выйдут вполне его сочинения, вы поразитесь постоянным противоречием его проповедей. Ни одного господствующего начала вы не выведете из них». «Тем не менее, — спешит он оговориться, — стремления его были всегда чисты, честны, бескорыстны, и он много пустил в оборот мыслей, много способствовал развитию эстетического понимания, ибо все, даже чужое, им временно усваиваемое, было высказываемо горячо, талантливо и с полною на ту пору искренностью»³.

«Приверженец и поклонник Белинского в глазах моих — человек отпетый и, просто сказать, петый дурак», — отозвался кн. П. А. Вяземский, пренебрегая аристократической мягкостью выражений. Но и он говорит о школе Белинского и ставит последнего выше его преемников:

Белинский умер; жив Белинский!
Его не пресекаем род;
Замрет, но в силе исполинской
Он тут же даст сторичный плод.
Уж многих нет давно; они же,
Белинские, родятся вновь;
Умом хоть первого пониже,
Но та же удаль, та же кровь...
и т. д.⁴

Известны дерзкие вылазки против Белинского со стороны Кс. Полевого⁵ и других. Самые резкие отзывы о нем, может быть, принадлежат Достоевскому, тому писателю, чьи первые шаги так восторженно приветствовал знаменитый критик. Временами Достоевский страстно ненавидел автора письма к Гоголю. «Это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни», — писал он Страхову. — Одно извинение — в неизбежности этого явления». Кроме того, «я обругал Белинского более как явление русской жизни, нежели лицо», прибавлял Достоевский. В «Дневнике писателя» им дана уже более спокойная и справедливая оценка Белинского, так что, если собрать и сопоставить между собой все отзывы Достоевского, то едва ли можно будет зачислить его в разряд безусловных врагов Белинского⁶.

Во всяком случае мы привели мнения наиболее решительных хулителей Белинского; все они имеют свое психологическое, идейное и историческое объяснение*. Роль Белинского в нашей общественной и литературной жизни была слишком велика, чтобы он мог не иметь противников и врагов. Но время всегда смягчает страсти; постепен-

* См. книгу С. Ашевского «Белинский в оценке его современников». СПб., 1911.

но, освобождаясь от давления личных мотивов, люди приобретают способность судить о вещах более беспристрастно, особенно когда появляются данные, освещающие личность с новых сторон. Так именно и было с Белинским. Книга А. Н. Пыпина «Белинский, его жизнь и переписка», вышедшая в 1876 году и составившаяся из статей, которые печатались еще в 1874–<18>75 годах, не могла пройти бесследно и для тех, кто питал в своей душе враждебное чувство к Белинскому. Обильный фактический материал, впервые опубликованный покойным ученым, рисовал перед читателем подлинного Белинского, обнажал такие интимные глубины в его психологии и идейной жизни, которые были совершенно неведомы большинству современников. Исследователь, в частности, имел право закончить свою книгу о Белинском словами: «Его личная многострадальная жизнь останется, без сомнения, не для одного настоящего поколения высоким примером нравственного достоинства и стремления к жизненной истине». Теперь уже нельзя было оставаться при одном голом отрицании Белинского, и честный Савл должен был превратиться в Павла. Это и случилось, напр<имер>, с славянофилом Кошелевым. Прочитав книгу Пыпина, он каялся в письме к С. А. Юрьеву, от 8 июля 1877 <года>⁷: «Должен теперь сознаться, что я Белинского до сих пор вовсе не знал и судил о нем по чужим словам... Из книги, только что мною прочтенной, вижу, что Белинский был человек отменно-даровитый, пламенный, что он во всю жизнь страстно любил истину и искал ее неустанно; что все его крайние выходки исходили из самых благородных источников; что он бесповоротно и с самоотвержением боролся с тем, что считал ложью и вредным для человечества; наконец, что он мученик в полном смысле слова. Я никак не вообразал, что он даже религиозен; что разрешение вопросов религиозных и нравственных было для него постоянною потребностью, и что он был социалистом в хорошем и вовсе не в западном смысле... Он имел благое влияние на ход образования в нашем обществе. Конечно, он не дошел до твердых начал, конечно, не дали ему вполне развиться, но толчок он дал значительный, и за это ему спасибо и вечная память»*.

Чем дальше подвигалось изучение Белинского и его эпохи, тем взгляд на него становился все глубже и определеннее. Пыпин еще чувствовал «стесняющие условия» и поневоле проявлял «сдержанность, рекомендуемую близостью времени и другими обстоятельствами» (II, 339). Дальнейшая работа над Белинским только укрепляла то впечатление, которое испытал Кошелев, и, следовательно, те выводы,

* «Сборник в память С. А. Юрьева». М., 1891. Стр. 293–4. См. также в книге С. Ашевского на стр. 71–72.

к которым пришел Пыпин. Правда, в 1896 г. А. Л. Волынский снова занялся критическим пересмотром вопроса о значении Белинского. Его взгляды в свое время вызвали основательные возражения, но и г. Волынский признавал «громадный критический талант» Белинского, говорил об его «исторических заслугах перед русской литературой», а главное, разделял «общее сочувствие к возвышенному и вдохновенному писателю» *.

Не задаваясь целью характеризовать всю литературу о Белинском, напомним лишь, что люди различного направления и различного душевного склада занимались им (Михайловский, Протопопов, Скабичевский, И. И. Иванов, С. А. Венгеров, П. Н. Милюков, Р. В. Иванов-Разумник, Ч. Ветринский, Н. О. Лернер, Евг. Соловьев-Андреевич, Г. В. Плеханов и др.), и никто не чувствовал ни малейшей потребности развенчивать Белинского, напротив, говорили об его «великом сердце», «великом уме», «великих исканиях». Факты были слишком очевидны и внушительны. Для всех было ясно, что можно спорить о тех или других сторонах вопроса, можно и даже должно продолжать изучение в надежде глубже и всестороннее осветить личность Белинского и его деятельность, но в основном история уже произнесла свой приговор о нем. Как было бы в наше время нелепостью сводить к нулю Ломоносова или Пушкина, так же странно объявлять, что «Белинский это — легенда», и пытаться низвести его на степень мелкой душонки и плохого журналиста. В этом смысле мы и позволили себе ранее (в «Р<усских> вед<омостях>») выразиться: «Его место давно уже определено нелицеприятным судом истории; его имя — свято. Давно уже Белинский находится за чертой досягаемости».

Этюд Ю. И. Айхенвальда не может не вызывать в каждом из нас полного недоумения именно потому, что, взяв на себя неблагодарную задачу продолжать дело г. Волынского, он значительно превзошел

* А. Л. Волынский. Русские критики. Литературные очерки. СПб., 1896. Наши цитаты относятся к стр. 112, 128 и 5.— Есть еще брошюра А. М. Евлахова «Принципы эстетики Белинского» (Варшава, 1912). Автор «Введения в философию художественного творчества» считает Белинского «родоначальником двух течений русской эстетики и ее приложения, критики»: «Белинский 30-х годов создал русскую эстетику и русскую критику, основанную на данных этой науки. Белинский 40-х годов создал в России так называемую «публицистическую критику», т. е. критику, не основанную на данных эстетики, критику *ненаучную*, т. е. *некритику*». В своем очерке г. Евлахов старается раскрыть то «ценное», что содержится в эстетике Белинского 30-х годов.— Можно, пожалуй, отметить также брошюру П. И. Вишневецкого «Н. В. Гоголь и В. Г. Белинский» (Н. Новгород, 1912), которая осуждает Белинского за его известное письмо к Гоголю по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» и местами переходит в запальчивую критику Белинского вообще.

последнего резкостью тона и голословностью своих суждений. Без соблюдения элементарных требований справедливости и беспристрастия спешит он обобщать критически не проверенные факты; берется судить о нравственных качествах литературного деятеля, совершенно игнорируя исторические условия его работы, и, наконец, измышляет специально для него преднамеренно-грубую психологию. Никаких новых материалов в распоряжении Ю. И. Айхенвальда не оказалось: все дело — в новом истолковании ранее известных фактов, в своем угле зрения. Определяющее значение в этом случае имело понимание психологии Белинского. Ведь одни и те же поступки, одни и те же мысли могут получить различное освещение, смотря по тому, кому они принадлежат, каков их предполагаемый психологический субстрат. В психологии Белинского — большая посылка, которая обуславливает собою все построение «силуэта», все главные умозаключения Ю. И. Айхенвальда.

II

В предисловии к третьему изданию книги «Силуэты русских писателей» Ю. И. Айхенвальд в качестве одной из важнейших «теоретических предпосылок» выставил идею о творческих свойствах и самодовлеющем значении каждой человеческой личности. Это — настоящий ее апофеоз. Он провозгласил «общим правилом», «законом» то положение, что «всякая личность наделена даром творчества». «Художник», рассуждает автор (VII стр.), «только усиливает и углубляет то, что свойственно всем людям. Мы все чувствуем себя творцами, зачинателями своих поступков, деятелями своих дел... Душа, это — действительность. Никогда не отдыхая, *perpetuum mobile*, даже в часы сна не разрешая себе абсолютного отпуска, она непрерывно совершает какое-то дело и ни на минуту не остается пассивной». Всякий детерминизм Ю. И. Айхенвальд считает ложью: не только творческую индивидуальность писателя нельзя рассматривать, — как продукт посторонних влияний, но и вообще «ничьим продуктом не служит никакая личность» (VI). «Влияния на личность, — говорит он (X), — никто не отрицает, но дело не в нем, а в ней. Существенно, кто испытывает воздействия среды, а не то, какие это воздействия».

Эта горячая апология действительности души, по-видимому, должна бы обязывать автора «Силуэтов» к бережному и любовному отношению к каждой индивидуальности. Но мы не только не находим этого в этюде о Белинском, но, к своему крайнему изумлению, видим, что автор невеликодушно отказал Белинскому в том, что считает неотъемлемой принадлежностью каждого среднего человека. Белинский

в его изображении вышел чудовищным исключением; для него понадобилось создавать особую психологию.

При всем желании, исследователь никак не мог открыть в Белинском действенной души, а так какую-то студенистую массу, которая то расширяется, то сжимается, принимает разнообразные формы, смотря по тому, кто воздействует на нее. Такой человек, как Белинский, конечно, чистая находка для детерминистов. В самом деле, по зрелом размышлении, Ю. И. Айхенвальд пришел к заключению, что «в знаменитом авторе не было субстанциального зерна, не было собственной личности. Пер Гюнт русской критики, он тоже, подобно ибсеновскому герою, в своих разнообразных блужданиях мог бы искать самого себя и своим символом признавать луковицу без ядра: одни слои, оболочки, листки, одни наслоения, влияния, воздействия, — но где же сердцевина, где же он сам? Его не было» (6). «Сплошной объект и медиум влияний, Белинский слушал и слушался, и у него нечего было влияниям противопоставлять» (2). «Надеждин, Полевой, Станкевич, Бакунин, Боткин, Герцен, Катков — все они давали ему сведения и мысли, и даже слова; он брал от них больше, чем имел на это право» (6). К чужому ценному Белинский прибавил только свои ошибки. В сущности он не в состоянии был даже усвоить того, что передавали ему другие. Малообразованный и «принципиально поверхностный», он «не видел тесных границ своей образованности, он не чувствовал сложности тех проблем, за которые брался с легким сердцем и с легкими сведениями» (7). Без смысла и толку «он звучным голосом герольда повторял то, что ему внушали» (6). Судите сами, какой может быть прок от подобного читателя. Он ненадежен, его нельзя брать всерьез; он способен только вводить в заблуждение, и скольких «малых и немалых сих» соблазнил «Виссарион-Отступник». Некоторым людям бывает свойственна «динамичность духа», они пребывают в «вечном движении», в «вечном искании». Не подумайте, что такой смысл имеет эволюция, пережитая Белинским: нет, «хронически и без явной трагедии» его «легкомысленные мысли» делают «прыжки», пируэты. Без царя в голове, Белинский только и имеет, что «живой темперамент»; его интеллектуальная жизнь, это — «беспредметное кипение, умственная пена» (6). Ему почти все равно, о чем бы ни кричать, о чем бы ни писать. «Белинскому не дорого стоили слова. Никто из наших писателей не сказал так много праздных речей, как именно он» (1). «Он писал о чем угодно, кажется, ему было все равно, о какой книге отозваться, — хотя бы даже о бумаге» (7). В его речах «так много риторики и гусярного звона» (11), он «часто шумит из пустяков» и впадает в «дурной тон» и «пустословие раешника» (13). И это потому, что Белинский был «без хорошей природы, без инстинкта правды» (3).

«С пошлой книгой он бывает в одной плоскости, одного роста с ее автором» (13). Для Белинского характерны «внутреннее мещанство, прирожденная ограниченность, отсутствие нравственного изящества и благородства» (4). Он «чужд той непосредственной духовной цельности, того сокровенного мировоззрения, того инстинкта правды, которые уже сами по себе, предупреждая сознательное построение идеалов, оберегают человека от чрезмерно-грубых заблуждений и от таких взглядов, какие граничат с нравственной близорукостью» (2). В вопросах нравственного порядка и в вопросах общественно-политических Белинский то и дело совершал «такие ошибки, которые вызывают не только идейный отпор, но и моральное негодование» (2). Наконец, как литературный критик, Белинский представляет печальное явление. Промахов в его эстетических оценках сколько угодно и притом самых вопиющих. В конце концов он впал в «вульгарный и наивный утилитаризм» (5), «изменил искусству» (6). «Это он расчистил дорогу публицистической критике, губительному течению тенденциозности» (6).

Пора перестать твердить благоговейную легенду о Белинском и признать, что в целом прославленный критик — печальное явление в истории русской литературы и даже во всей истории русской культуры: «В высокой мере как раз Белинский повинен в том, что русская культурная традиция не имеет прочности, что бродит и путается она по самым различным дорогам» (1).

Уничтожающая характеристика, полное отрицание Белинского как человека, как мыслителя, как критика. Но, как это нередко бывает с Ю. И. Айхенвальдом (см., напр<имер>, его этюд о Тургеневе), в конце своего очерка он находит возможным указать и на «положительное значение» Белинского: «После Белинского уже нельзя не интересоваться литературой. Через книги, оцущью, наивно, искренне пробирался он к истине, увлекал за собою других... Не только от его дурного, но и от его хорошего рассыпались мысли, рассеялись по русской земле яркие искры; и хотя многих он сбил толку, но многих он также обогатил, и он сделался патроном учителей русской словесности. Дух его... проникал в юношеские сердца. И хотя действительный Белинский — совсем не то, что легендарный, но плодотворна и дорога была самая легенда его, миф о Белинском, его идеализованное лицо. И не легко все-таки отворачиваться и от того реального человека, который имел же, значит, в себе нечто большое, если мог оставить после себя такой прекрасный след и сумел завещать своему имени такой лучистый ореол» (14). Найдутся и на других страницах этюда Ю. И. Айхенвальда оговорки в пользу Белинского. «Порою дышит в них (в его книгах) трепет искания, горит огонь убежденности, блещет красивая и умная фраза» (1). «Иногда, впрочем, загораются у него

мысли и слова, которые надо только приветствовать и запомнить» (12). Как мыслитель и критик, Белинский «начал глубокомысленно»; «он умел заражаться идеями и с помощью литературного таланта заражал ими других» (4); он «выказал серьезное постижение эстетики» (5). Он «не был приживальщиком чужих идей... с идеями он сейчас же роднился, и психологическая самостоятельность у него была» (6).

Но во всех этих смягчающих приговор замечаниях мы видим не беспристрастие судьи, а его противоречивую непоследовательность, неумение найти «субстанциальное зерно» личности, вследствие неустойчивости того психологического базиса, на котором построена вся характеристика Белинского.

Если Ю. И. Айхенвальд задался целью разрушить легенду о Белинском, то он обязан был помнить, что предметом легенды становится обыкновенно такая личность, в которой, действительно, есть «нечто большое». Это «нечто» должно быть и в Белинском. Согласно с психологическими воззрениями самого Ю. И. Айхенвальда, Белинский, как и всякий человек, должен обладать «действенной», творческой душой, у него должна быть своя собственная личность. Противник детерминизма начинает вдруг уверять нас, что Белинский — жалкий объект всевозможных влияний и вместе с тем могучий субъект влияний, который соблазнял не только малых, но и «немалых сих», который имел такое роковое значение для всего хода русской культуры.

Нет, не миф о Белинском уничтожает Ю. И. Айхенвальд, не реально-го Белинского восстанавливает он перед нами, а дает сбивчивый портрет какого-то фантастического лица: на переднем плане яркими и грубыми мазками набросан портрет Пера Гюнта русской критики, а сквозь этот рисунок слабо просвечивают черты другого лица, подлинного Белинского. Перед нами не один, а два человека. Сложная натура исторического Белинского оказалась недоступной пониманию автора «Силуэтов».

III

В статьях нескольких оппонентов Ю. И. Айхенвальда уже было сделано ему немало ценных фактических возражений*. Мы хотели бы сосредоточить внимание читателя, главным образом, на личности

* Ч. Ветринский в рецензии на III вып. «Силуэтов» — в «Вестнике Евр<опы>» 1913, дек. — Р. Б. Иванов-Разумник. «Правда или кривда». Заветы, 1913, дек. — Н. Л. Бродский. Развенчан ли Белинский. Вестнике <воспитания>, 1914, № 1. — Е. А. Ляцкий. Господин Айхенвальд около Белинского. Современник, 1914, янв., книга первая. — А. Дерман. Айхенвальд о Белинском. Р<усское богатство>, 1914, февр.

Белинского, на его психологии, что, по нашему мнению, имеет первенствующее значение в возникшей полемике. При этом существенным материалом послужат для нас только что вышедшие письма Белинского*. Сам Ю. И. Айхенвальд признавал, что при решении психологической проблемы нельзя обойтись без биографии и писем Белинского, и он, действительно, пользовался ими. Письма Белинского отличаются необычайно искренним тоном. С чисто детской правдивостью, без всякой позы раскрывает он перед друзьями свою душу, не щадя в себе ни малейшей слабости, подвергая строгому анализу каждое движение своей души. Некоторые письма по своему содержанию и объему напоминают настоящие психологические трактаты. Кто действительно хочет узнать реального Белинского и отрешиться от легендарных о нем представлений, для того нет лучшего способа, как внимательно и беспристрастно вчитаться в письма Белинского. «Вся жизнь моя в письмах», — выразился он однажды (II, 237). И это глубокая правда. Белинский стоит здесь перед нами во весь свой рост, виден нам со всех сторон; мы наблюдаем его и в прозаические будни, и в моменты высшего напряжения духа. При этом его образ не двоится перед нами: мы явственно различаем, выражаясь языком того времени, основную субстанцию его личности и ее временные определения. И субстанция эта такова, что интимное общение с нею несколько не разочаровывает нас, если даже до сих пор мы всецело были во власти «легенды». Напротив, как живой человек, со всем своим нравственным величием и присущими ему недостатками он делается для нас еще понятнее и еще дороже. Сам Фома неверующий может вложить теперь свои персты в язвы Белинского и должен уверовать в него.

Мы разделяем забытое Ю. И. Айхенвальдом положение, что каждая личность прежде всего есть самодовлеющая монада, что не может быть человека без «собственной личности». В каждой личности, далее, есть свое субстанциальное зерно, и оно определяется не идеями, не знаниями, не теоретическим мирозерцанием личности, а тем, в чем выражается ее «психологическая самостоятельность», тем, что составляет основу натуры, тем, что называется характером личности. Мирозерцание, идеология — дело наживное и не всегда находится в органическом соответствии с натурой человека, с грунтовыми свойствами его психологии.

* Белинский. Письма. Три тома. Редакция и примечания Е. А. Ляцкого. Т. I (1829–1839). Стр. VIII + 427. Т. II (1839–1843). Стр. 439. Т. III (1843–1848). Стр. 477. Издание кн-ва «Огни». СПб., 1914. Цена каждого тома 2 р. 50 к.— Об общем значении этого издания мы говорили в заметке, напечатанной в «Р<усских> <ведомостях>» 1914 г., № 23.— Наши многочисленные ссылки в дальнейшем с обозначением тома и страниц относятся именно к этому изданию.

Наличность такого несоответствия у людей глубоких и искренних всегда бывает источником внутреннего распада, душевной борьбы. Большой разум человека, по Ницше, полнее выражает его личность, чем малый разум, или, иначе, бессознательное в человеке характернее для него, чем сознательное. С этими психологическими предпосылками и следует подходить к выяснению психологии Белинского.

Все писавшие до сих пор о Белинском ясно сознавали резкие особенности его личности, но, сосредоточивая свое внимание на других сторонах дела, обыкновенно ограничивались попутными замечаниями относительно его «неистовости» или «великого сердца»*. Постараемся же определить, каков тип его психической жизни, как его душевные силы проявляют себя в живой, индивидуальной целостности.

Белинский принадлежит к категории *эмоциональных* характеров, если принять наиболее распространенную классификацию Бэна, или, что будет еще точнее, к категории *активно-эмоциональных*, или *страстных*, если воспользоваться терминологией Кёйра**. «Неистовый», энергичный, или «нервический», по определению самого Белинского (I, 146), темперамент придает его характеру субъективную окраску, определяя степень напряжения активно-эмоциональных функций. Активно-эмоциональным характером, по Кёйра, обладали все те мученики и герои, в которых жила жажда деятельности и подвига, такие люди, как Св. Тереза, Св. Франциск Ассизский, Петр Пустынник, Лютер, Савонарола, Джордано Бруно, Наполеон, Риензи, Мирабо и Дантон, Байрон и Альфиери, Бомарше, Ламеннэ, Прудон и др. Если бы Кёйра знал русскую историю, то, конечно, рядом с поименованными лицами, он поставил бы и Виссариона Белинского, который, кстати сказать, в 1841 году (II, 267) избрал себе в герои «разрушителей старого — Лютера, Вольтера, энциклопедистов, террористов, Байрона (“Каин”) и т. п.».

* Как известно, на эпитете «великое сердце» особенно настаивает С. А. Венгеров. Возражая ему, П. Н. Милоков выдвигает силу мысли Белинского и говорит («Из истории русской интеллигенции, СПб., 1902. Статья «Надеждин и первые критические статьи Белинского», стр. 211): «“Великое сердце”, конечно, нужно было, чтобы сообщить этой теоретической работе всю ее напряженность, всю ее лихорадочность; но сущность сделанного дела все же заключалась в теоретической работе мысли». Продолжая думать, что значение Белинского состоит по преимуществу в том, «что у него было великое сердце», С. А. Венгеров, однако, оговаривается: «Огромно, конечно, и чисто умственное значение его литературного наследства» (Очерки по истории русской литературы. СПб., 1907. Статья «Великое сердце», стр. 243). Р. В. Иванов-Разумник видит в Белинском «громадную умственную силу» в соединении с «громадной силой страсти» («Великие искания». Т. III, стр. 122).

** *Фред. Кёйра*. Характеры и воспитание их. Перевод с франц. Н. Н. Мазуренко. СПб.

«Нет, я знаю себя хорошо», — с полным правом говорил Белинский (II, 344) в письме к Н. А. Бакунину от 23 февраля 1843 года, «знаю хорошо, что я человек недюжинный, и что во мне есть кое-что такое, что не в каждом бывает. Моя главная сторона — сила чувства». «Лучшая сторона моя — это чувство, сильное до иступления и дикости», — писал он несколько раньше Боткину, от 23 ноября 1842 году (II, 319). Как в натуре активно-эмоциональной, стержнем психики Белинского, действительно является напряженное *чувство*, страстность. «Эта страстность, — признается он сестрам Бакуниным (письмо от 8 марта 1843 г.; II, 345), — источник и мук, и радостей моих». Она определяет повышенный темп всей его жизнедеятельности, как личной, так и общей: она бросает его в различные крайности, делает резким и не всегда справедливым, порою низвергает его на дно страстей; она же поднимает его на лазурное небо чистых помыслов, родит в нем «мучительный голод умственной деятельности» (II, 346) или «огненную жажду разумной деятельности» (II, 347).

Все стороны духовной жизни Белинского неизбежно получают окраску эмоциональности. Природа не обидела его умом, она наделила его философскою пытливостью духа и способностью подниматься на высоты теоретического мышления. Его сочинения и письма — нелицеприятные свидетели того, как возбужденно работает его мысль над вопросами эстетики, литературы, истории и жизни. Недаром кн. В. Ф. Одоевский, судья вполне компетентный, называл Белинского одною из высших философских организаций. Но его *мышление* имеет свои специфические черты, определяемые свойствами его эмоционального характера. «Твоя кровь горяча и жива, — сравнивал Белинский М. А. Бакунина с собою (I, 304; письмо от 12–24 окт. 1838 г.), — но она (если можно употребить такое сравнение) течет у тебя не в жилах, а в духе твоём; у меня дух живет в крови, горячей и кипучей, и он тогда действует во мне, когда кипит моя кровь, и моя кровь часто закрывает собою, и от глаз других, и от меня самого, мой дух».

Белинскому чужда бесстрастная работа логики; он не отвлеченный мыслитель и не кабинетный ученый. «Я не рожден для науки, ни даже для того тихого кабинетного занятия любимыми предметами, которое так сродно твоей натуре», — писал он Бакунину 16 января 1841 года (II, 203). Каждый акт его мысли превращается в эмоцию, играет яркими красками чувства, то восторженной любви, то пламенной ненависти. Каждую идею он должен прочувствовать, пережить, перестрадать и претворить в живой, художественный образ, который можно было бы созерцать как явление действительности. «Для меня думать и чувствовать, понимать и страдать — одно и то же», — говорил Белинский (II, 214).

Своему непосредственному чувству он доверяет больше, чем разуму. В октябре 1838 года он писал М. А. Бакунину (I, 268): «Чувство мое вполне уважаю и вот почему: мое созерцание всегда было огромнее, истинные мои предощущения и мое непосредственное ощущение всегда было вернее моей мысли... Я мыслю (сколько в силах), но уже если моя мысль не подходит под мое созерцание или стучается о факты, — я велю ее мальчику вымести вместе с сором». Белинский чувствует в себе потребность «рассуждать, судить», спорить об идеях и хлопотать о них, «как о своих собственных делах», но он не станет «предпочитать конечной логики своей своему бесконечному созерцанию, выводов своей конечной логики — бесконечным явлениям действительности» (I, 272). «Отвлечение — не моя сфера, и мне душно и гадко в этой сфере, и в мысли, как мысли собственно, я играю роль слышном не блестящую; моя сфера — огненные слова и живые фразы — тут только мне и просторно и хорошо. Моя сила, мощь — в моем непосредственном чувстве, и потому никогда не откажусь я от него, потому что не имею охоты отказаться от самого себя и объявить себя призраком. Но я понимаю достоинство мысли и, сколько могу, служил и служу ей. Чувство огонь, мысль — масло» (I, 304)*.

Натура активная и художественная, Белинский неудержимо стремится к *органической полноте* переживаний: мысль и чувство, проникая друг друга, делают его душевную энергию крайне интенсивной и настоятельно требуют выражения во вне. «Обаятелен мир внутренний, но без осуществления во вне он есть мир пустоты, миражей, мечтаний. Я же не принадлежу к числу чисто внутренних натур, я столь же мало внутренний человек, как и внешний, я стою на рубеже этих двух великих миров» (Письмо к Н. А. Бакунину, 9 декабря 1841 г.: II, 274). Белинскому нужна не призрачная жизнь мечтателя или теоретика, а подлинная, кипучая, захватывающая *жизнь*, которая бы держала в напряжении все струны его организма, давала ему острое ощущение бытия. «Ты в жизни рационалист, — рассуждает Белинский в письме к Бакунину (13–14 авг. 1838 г.; I, 219–220), — я эмпирик. Тебя может удовлетворить истина только в сознании, в философском развитии, в логической необходимости; для меня она существует не столько сама по себе, сколько по способу, каким она мне представляется: если она блестит радужным блеском образа — она моя». «Для меня истина существует не в знании, не в науке, а в жизни», — метко сказал о себе Белинский, не в первый раз сравнивая

* В письме к А. И. Герцену от 6 апр. 1843 г. (т. III, 109) Белинский также уверяет, что с философией ему справиться труднее, чем Герцену, зато искусство ему «сроднее», чем автору романа «Кто виноват»: «фантазия у меня преобладает над умом».

себя с М. А. Бакуниным (I, 219). Для последнего жизнь — «поверка знания», а для Белинского наоборот: он исходит от жизни, он мыслит, чувствует и страдает для жизни, для того, чтобы понять ее высший смысл и сделать собственное существование разумным. «Надо жить, надо двигаться в живой действительности, быть естественну, *просту*, походить на всех, походя только на одного себя» (I, 240)*.

Как Ломоносов, как Пушкин, как Л. Толстой, Белинский — прирожденный *реалист*, и эта черта как нельзя более естественна в психологии типичного разночинца. Ничто не в состоянии на долгое время увести его от действительной жизни, которую он так жадно воспринимает всем своим существом. Он жил для того, чтоб «мыслить и страдать», но и — «делать» (I, 270); он мог бы повторить о себе лермонтовские слова: «Мне нужно действовать... Я каждый миг бессмертным сделать бы хотел, как тень великого героя». Когда Белинский «совершенно сознал себя, понял свою натуру», он не нашел лучшего выражения для своего самоопределения, как «слово That» (16 янв. 1841 г. к Боткину; II, 203). «Я в мире *боец*», — говорил он в письме к Н. А. Бакунину от 9 декабря 1841 года (II, 273). Он сознавал в себе агитатора, трибуна. «Как скоро дело касается до моих задушевных убеждений, — писал он Станкевичу (I, 116), — я тотчас забываю себя, выхожу из себя, и тут давай мне кафедру и толпу народа: я ощущу в себе присутствие Божие, мое маленькое я исчезнет, и слова, полные жара и силы, рекою польются с языка моего».

Неумолимо честный перед самим собою, Белинский с болезненной остротой переживает всякие диссонансы и внутренние противоречия; он стремится к гармоническому устроению своей психики, к установлению *синтетической цельности духа*. Для него нет мучительнее состояния, как остановиться на полдороге, на распутье. В каждую данную минуту ему нужны горячие убеждения, верования, которые вносили бы разумный смысл в его жизнь, удовлетворяли бы голосу совести и чести, голосу его «наклонного к добру сердца, которое не может не биться для всего человеческого» (II, 110).

«У меня все убеждения сильны, потому что я не умею вполнину предаваться им» (I, 220). «*Что-нибудь* никогда не удовлетворит требований моего духа» (I, 326). «Я не могу жить без верований, жарких

* «Ты — голова светлая, логическая, — писал Белинский Бакунину. — Ты превосходно *мыслишь* о действительности, и на этом поприще я отказываюсь от всякой борьбы с тобою, заранее признавая себя побежденным... Но когда дело дойдет до применения, до осуществления жизнью своих понятий, — ты тут не борись со мною, потому что, в этом отношении, ты никогда не знал действительности» (10 сент. 1838 г.; I, 236).

и фантастических, как рыба не может жить без воды, дерево расти без дождя», — писал Белинский Н. А. Бакунину 7 ноября 1842 года (II, 17). Белинский — натура этическая, религиозная в высшей степени: жизнь есть для него религиозный акт, который немислим без философской руководящей идеи, без глубокой веры в высшие начала бытия. «Нет несчастнее людей, подобных мне, — говорил он сестрам Бакуниным (письмо от 8 марта 1843 г.; II, 346), — пока они не найдут в религиозных убеждениях прочной точки опоры для своей жизни и прочного разумного основания для своих связей и отношений с другими людьми». Он знал «ревность по Господе, снедающую человека» (II, 322). То, что он признал истиной и признал не логически, а воспринял всем существом своим, становится предметом его фанатической веры, но лишь до тех пор, пока не выветрится ее животворное содержание. Как только «истина» начнет «опошливаться», как только она перестанет озарять правду жизни, она превращается в тягостную, ненужную ложь. Наступает новый период все той же работы чувства, совести и мысли, беспредельная *динамика духа*, движимого инстинктом правды. «Видишь ли, как я создан, — определяет себя Белинский (в письме к М. А. Бакунину 13–14 авг. 1838 г.; I, 219), — каждый мой прогресс в знании есть повесть, прекрасная, поэтичная повесть, то с улыбкой, но больше с слезами и страданием». В горниле этих идейных страданий, его дух все более и более очищается и просветляется. Жизнь Белинского была так трудна, что временами и он не мог не испытывать припадков апатии. Порою деятельность его сердца замирала, но, скажем его собственными словами (II, 274), «не от холода, а от избытка огня, которому нет пищи, не от недостатка жизни внутренней, а от ее избытка, не находящего для себя пищи во вне». С полным основанием можем мы повторить за Белинским, что в нем есть «истинная и глубокая сущность» (I, 253), что ему присуще «вечно движущееся начало», которое он находил и в своем философском друге (II, 317), а «кто развивается, тот интересен каждую минуту, даже во всех своих отклонениях от истины» (I, 218). Лишь слепой фанатизм или умственная ограниченность могут претендовать на обладание абсолютной истиной. Белинский был наделен редкой свободой духа, полной адогматичностью. Можно вполне согласиться с Ап. Григорьевым, что высшим свойством натуры Белинского является «неспособность закоснеть в теории против правды искусства и жизни» *. В этом Белинский видел даже дорогое свойство вообще русского человека. «Хороши практические натуры, les hommes d'action», — рассуждает он в письме к Боткину от 8 марта 1847 года (III, 196), но лишь при условии, что они свободны от «безвыходной

* Сочинения Ап. Григорьева, т. I, стр. 579.

ограниченности, душевной узкости». В противном случае, он предпочитает «быть созерцающей натурой, человеком просто, но лишь бы все чувствовать и понимать широко, привольно и глубоко». «Я — натура русская, — писал он. — ...Русская личность пока — эмбрион, но сколько широты и силы в натуре этого эмбриона, как душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость».

В психологии Белинского более всего поражает именно тем фактом, что перед нами ярко выраженная, даровитая и активная индивидуальность, которая стремится выявлять себя на каждом шагу и все подчинять своему «я». Его психика не случайный конгломерат отдельных атомов, а прочное сцепление родственных элементов. Среди сонма талантливых современников Белинского его фигура сохраняет все свое своеобразие, величие и красоту. Есть своя красота в гордом парении строгой мысли ученого, в непреклонном энтузиазме моралиста, в железной воле военного гения, в созерцательном эстетизме художника. Но есть своя красота и в той разновидности активно-эмоционального типа, к которой принадлежит Белинский. В каждом повороте его мысли, в каждом порыве чувства, в каждом значительном факте жизни просвечивает его душевная красота, словно внутренний свет, проникающий сквозь тонкие стенки изящного сосуда.

IV

Типичный разночинец, привыкший во всем полагаться прежде всего на самого себя, Белинский уже мальчиком держался независимо, с чувством собственного достоинства. М. М. Попов знал Белинского еще учеником пензенской гимназии, и, по его впечатлению, мальчик, несмотря на свою крайнюю бедность, не казался «жалким, заброшенным», напротив, «у него взгляд и поступки были смелые, как бы говорившие, что он не нуждается ни в чьей помощи, ни в чьем покровительстве». «Таков он был и после, — прибавляет Попов, — таким пошел и в могилу»⁸.

И действительно, стоит хотя бы бегло проследить жизнь Белинского, которая была для него с самых ранних лет тяжелою борьбой за существование; стоит вдуматься в его отношения к литературным деятелям, от которых нередко зависела его судьба как журналиста; стоит, наконец, вчитаться в его письма к друзьям, вникнуть в мотивы их дружбы и размовок, — чтобы понять нравственный закат Белинского, его изумительную стойкость в самых невыносимых обстоятельствах жизни. Это не значит, что Белинский неизменно сохранял бодрое, жизнерадостное настроение. Нет, минуты грусти, тоски, даже отчаяния хорошо были знакомы ему при его горемычном существова-

нии. Более того, подчас он изменял себе, «падал», отдавался во власть низменных инстинктов человеческой природы. Ничего другого мы и не должны ждать от человека с страстным темпераментом, от человека активно-эмоционального типа, но все это только увеличивает цену того жизненного подвига, который совершил Белинский, и еще ярче оттеняет высокие качества его психики.

Нелегко было провинциалу и пролетарию попасть в университет. Цель все же была достигнута, и Белинский с справедливой гордостью мог извещать родителей (I, 2): «Тем более меня радует и восхищает принятие в университет, что я оному обязан не покровительству и стараниям кого-нибудь, но собственно самому себе». «Для меня нет ничего тягостнее, ужаснее, как быть обязанным кому-либо», — писал студент Белинский своему учителю Попову, 30 апр. 1830 года (I, 23). Достаточно известно, какую нужду терпел Белинский в университетские годы, и как ему тяжело было выпрашивать у родителей деньги. «Уверять вас в своей почтительности, любви, преданности, осыпать вас нежными названьями — я не могу, — писал он однажды родителям (I, 32), — ибо почитаю это не чем иным, как подлым ласкательством, как низким средством выманывать у вас деньги. Я не умею нежничать, но умею чувствовать и думаю, что священное чувство любви и уважения к родителям состоит не в словах, а в поступках; заключается не в мертвой бумаге, но в душе пламенной, доступной для благородных и возвышенных впечатлений... Нет! Я слишком горд, слишком, благороден, чтобы извиваться перед вами ужом и жабою из такого низкого и подлого побуждения...» «Для меня нет ничего ужаснее, убийственнее, как быть кому-нибудь в тягость» (I, 35), — говорит он в другом письме к родителям (от 29 сент. 1831 г.).

Когда университетское начальство не нашло возможным терпеть более Белинского, и ему пришлось пить «горькую чашу» жизни — он не упал духом. Он не хотел слышать упреков даже от родителей. «Я уже не мальчик, и свой собственный суд для меня всего страшнее», — писал он отцу (21 мая 1833 г.; I, 53). А матери он гордо заявлял (I, 56): «Я нигде и никогда не пропаду. Несмотря на все гонения жестокой судьбы — чистая совесть, уверенность в незаслуженности несчастий, несколько ума, порядочный запас опытности, а более всего некоторая твердость в характере — не дадут мне погибнуть».

И Белинский, действительно, не погиб. Того, что выпало ему на долю, не знали ни Станкевич, ни Бакунин, ни Боткин, ни даже Катков: никому из них не приходилось вести непрерывную жизнь журналиста-пролетария, когда всеильный царь-голод мог сломить человека, заставить его поступиться своей личностью, своими убеждениями. Это и случилось в значительной степени с Полевым, имен-

но этого и не мог простить ему Белинский, когда-то его искренний поклонник и всегда хорошо понимавший его заслуги перед русским просвещением. Ю. И. Айхенвальд резко осуждает Белинского за его «беспощадную травлю Полевого», но он не дал себе труда вдуматься в идейные и психологические мотивы этих нападок: чем выше был в его глазах Полевой, чем больше он его любил, тем сильнее должно было быть чувство огорчения при виде падения кумира. Здесь опять сказывается лишь высота нравственных требований, какие Белинский предъявлял к людям и прежде всего к самому себе.

Белинский жил в вопиющей бедности, — и принужден был то и дело занимать деньги. Делал это и Михаил Бакунин. Но какая оказалась огромная разница между друзьями. «Чужие гривенники жгли мне руки и душу», — вопиял Белинский (I, 292), а его философский друг никак не мог понять этого. «Ты, Мишель, — разъяснял ему Белинский (I, 285 письмо, 12–24 окт. 1838 г.), — составил себе громкую известность попрошайки и человека, живущего на чужой счет». Сам Белинский задолжал не менее его, а между тем, справедливо говорил он, «на меня никто не смотрит, как на попрошайку, как на человека, живущего на чужой счет»: «Тут есть две причины. Первая — ты просишь и берешь легко и легкомысленно; все видят, каких мучений стоит мне это, и какую важность придаю я всякому гривеннику, который я беру у других. Вторая — я тружусь, и тружусь, как вол, с самоотвержением, с презрением собственных выгод, а между тем бедствую совсем не заслуженно, — это всем известно, и за это мне никто не ставит в вину того, что в самом деле вина, потому что с большею расчетливостью, строгостью к себе, ограничением себя, я бы наполовину мог избегать *ужасной* необходимости быть попрошайкою и жить на чужой счет». Но мы знаем, что, если бы Белинский вполне обладал филистерскими добродетелями — расчетливостью, умеренностью и аккуратностью, — все равно он не избежал бы «ужасной необходимости» оставаться без гроша в кармане, потому что все его благосостояние зависело от непрочного литературного заработка. В письмах Белинского содержится огромное количество данных, свидетельствующих о каторжных условиях его жизни, которая немолимо держала его в своих тисках, с вечной перспективой нищеты, которая не позволяла ему спокойно отдаваться самообразованию или не торопясь отделять свои статьи. А тут еще цензура, которая беспощадно калечила его статьи, вырывая из них живые куски. Когда вспомнишь все это, то настоящим издевательством над страдающим человеком покажутся упреки Ю. И. Айхенвальда, что Белинский «читал для того, чтобы написать, читал наскоро, и за его страницами не чувствуешь долгой работы и умственной уединенности, часов на-

копления» (2), что, «небрезгливый, непривередливый... он писал о чем угодно, и кажется, ему было все равно, о какой книге отозваться, хотя бы даже о бумаге» (7), что «слишком профессиональный журналист, Белинский не оградил себя и от нравственной пыли своего ремесла» (13). Как можно было не услышать вопль Белинского-журналиста? Как, в частности, вопреки его собственным жалобам (II, 331–332, 338, 294; III, 164), можно было утверждать, что он как-то «не уставал» от беллетристики и что она заслонила перед ним «живую жизнь» (13)? А главное, как можно было не заметить в Белинском честного и идейного служения своему долгу литератора, не оценить его моральной мощи, проявленной на этом тернистом пути? Белинский самоотверженно нес свой крест на благо «литературе расейской» и, неподкупный, независимый, смело диктовал свои условия издателям, защищая неприкосновенность своего «образа мыслей, выражения», словом, своей «литературной совести» (I, 312). «Если дело дойдет до того, что мне скажут: независимость и самобытность убеждений или голодная смерть, — писал Белинский Панаеву в 1839 году, когда он лихорадочно искал хоть какого-нибудь заработка (I, 312), — у меня достанет силы скорее издохнуть, как собаке, нежели живому отдаваться на позорное съедение псам». Кто рискнет утверждать, что эти слова — простая фраза, а не голос его сильной, честной и идейной личности? Так не мог говорить «человек без духовной собственности» (Айхенвальд, 2)*.

В каждый данный момент у Белинского была своя «духовная собственность», с которой он не хотел расстаться ни за что на свете, потому что это — его кровное достояние, его святая-святых, а не мысли, взятые напрокат у друзей.

Тут мы подошли к пресловутому вопросу о влияниях, который послужил для Ю. И. Айхенвальда одним из важнейших аргументов в пользу отрицания у Белинского «собственной личности». Поистине изумляешься примитивности психологических приемов, допущенных в данном случае автором «Силуэтов». К Белинскому применена нарочито-аляповатая психология, которая не могла бы прийти в голову ни одному самому грубому детерминисту. Ю. И. Айхенвальд, отрицающий детерминизм, представляет нам Белинского, как *tabula rasa*, как пустопорожний сосуд, в который каждый вливает, что ему вздумается; когда содержимое начнет прокисать, его выплескивают, и сосуд

* Ю. И. Айхенвальд не поспешил на ряд мелких придинок, касающихся построения статей Белинского и его стиля (11–12). Рекомендуем ему прочесть в письмах Белинского, напр., следующие места: II, 215; I, 345–6; II, 23, 227–229; II, 41, 209–210, 282, 357; III, 305–306. Может быть, это несколько смягчит его приговор⁹.

наполняется другим человеком, третьим и т. д. Надеждин, Полевой, Станкевич, Бакунин, Боткин, Герцен, Катков давали ему сведения, мысли, даже слова; «очень многое и очень ценное в историко-литературных построениях Белинского заимствовано у его современников». «Свое правильное и хорошее он получал от других или с другими разделял, — своими ошибками он всецело обязан самому себе» (6–7). «Руководимый руководителем, аккумулятором чужого, рупор своего кружка, Белинский был человек обязанный» (6). И, утверждая все это, Ю. И. Айхенвальд не дал себе труда изучить вопрос о взаимоотношениях Белинского к его современникам и предшественникам, а поспешно обобщил плохо понятые факты, забывши при этом свой собственный тезис, что в вопросе о влияниях «существенно, кто испытывает воздействия среды, а не то, *какие* это воздействия». Мы, историки литературы, сказали бы, что важно и то, и другое, но, разумеется, основной предпосылкой является почва, воспринимающая влияние.

История кружка Белинского, история его дружбы теперь достаточно известна, и решительно нет ни малейшего основания утверждать, чтобы кому-нибудь удалось подчинить себе Белинского до полного обезличения*. Напротив, во всех комбинациях дружбы его «я» выступает наружу, не теряя своей самостоятельности даже в том случае, если субъект влияния действительно имел перед ним какое-нибудь серьезное преимущество. М. М. Попов еще в мальчике Белинском заметил редкую независимость мысли. Он не легко отказывался от своих, хотя бы и незрелых мнений и говорил: «Дайте, подумаю; дайте, еще прочту»; если же с чем соглашался, то бывало отвечал с страшной уверенностью: «Совершенно справедливо!» Так держался Белинский и далее.

Разумеется, никто не приписывает ему какой-то идейной экстерриториальности: он связан и с предшественниками, и с современниками, как, с другой стороны, имеет и свое литературное потомство. Деятельность Белинского есть известный момент в истории русской критики, в истории русской литературы и в истории русской общественности. И оценивать его можно только в этой исторической перспективе. Но отсюда неизмеримо далеко до утверждения, что Белинский был не что иное, как аккумулятор чужого, рупор кружка. До Белинского действовали Полевой, Надеждин и другие критики, но основы русской литературной критики заложил именно Белинский, потому что он был критиком по призванию, обладал такими качествами, каких

* Уже И. И. Иванов в «Истории русской критики» (СПб., 1900. Ч. III, стр. 70 и сл.), энергично отвергал мысль о возможности «влияния» на Белинского по соображениям чисто психологического свойства.

не было ни у одного из его предшественников*. Пусть Ю. И. Айхенвальд перечитает письма Белинского, в которых так детально и интимно отразилась история его дружбы с Бакуниным, Боткиным и Катковым, и он увидит, в чем и насколько Белинский находился в зависимости от своих друзей. Из писем Белинского очевидно, что никто никогда не был его абсолютным руководителем, что он прекрасно сознавал особенности своей натуры и не думал поступаться ею, что в вопросах жизни он нередко превосходил своих друзей и сам давал им советы, что им он бывал обязан теми или другими фактическими познаниями, но всегда перерабатывал их по-своему. Белинский всюду оставался самим собою, на все налагал четкий штемпель своей индивидуальности; другим он предпослал себя, у него было свое a priori. Его не смешал ни с Станкевичем, ни с Бакуниными, ни с Катковым, ни с Боткиным.

Станкевич долгое время был нравственным центром кружка. Его моральный престиж был силен и в глазах Белинского. Последний охотно называл его своим авторитетом, имея в виду главным образом его личность, привлекательную по своему благородству и гармонической простоте. «Станкевич, — писал Белинский в назидание Бакунину в знаменитом письме от 12–24 окт. 1838 года (I, 296), — никогда и ни на кого не налагал авторитета, а всегда для всех был авторитетом, потому что все добровольно и невольно признавали превосходство его натуры над своею». Белинский называет Станкевича человеком необыкновенным, гениальным, личностью божественной и особенно дорогой чертой считал его «простоту и нормальность» (I, 258); это повторяет он несколько раз, особенно в письмах к Бакунину. Но, по свидетельству самого Белинского, он не мог считать Станкевича «своим другом», «ибо неравенство не допустило возможности этого ни с его, ни с моей стороны: он слишком сознавал свое превосходство, а я слишком самолюбив, чтоб исчезнуть в человеке, при котором я хоть сколько-нибудь несвободен» (II, 297). История духовной жизни Станкевича, которую можно восстановить детально по его письмам**, показывает, что Белинский в эту

* Еще П. Н. Милюков прекрасно осветил вопрос о зависимости Белинского от Надеждина. Тезис и антитезис рассуждений Белинского по вопросам эстетики в первых его статьях очень часто принадлежали Надеждину, «но надеждинский синтезис оказывался чересчур мелким и внешним, и Белинский заменял его своим»; при этом ему удавалось «занять высшую позицию, с которой и первоначальная мысль, и возражение против нее сливались в одно более глубокое понимание предмета» (П. Н. Милюков. Из истории р<усской> интеллигенции. СПб., 1902. Статья «Надеждин и первые критические статьи Белинского», стр. 202).

** Это и сделано в печати Р. В. Ивановым-Разумником в «Истории русской литературы XIX в.», Изд. Т-ва «Мир»¹⁰.

пору, т. е. со времени выхода из университета и до отъезда Станкевича за границу, был далек от него и держался самостоятельно, поражая иногда своего друга неожиданными для него мыслями. Письма Белинского к Станкевичу, к сожалению, не очень многочисленные, снова свидетельствуют об его независимости от Станкевича в вопросах философских и литературных. Короче, Белинский благоговел перед личностью Станкевича, не отрицал морального влияния с его стороны, но считать Станкевича учителем Белинского нет основания*.

Близкая дружба связывала Белинского с Боткиным, в котором он ценил и личные качества, и эстетический дар. Но переписка их не оставляет ни малейшего сомнения в том, что друзья были, так сказать, на равной ноге, и Белинский в житейских делах смело брал на себя роль советника и руководителя, а в вопросах литературных вовсе не считал его безусловным авторитетом и временами очень серьезно расходился с ним. «Страницы о романтизме», которыми Ю. И. Айхенвальд колет глаза Белинскому, существенного значения не имеют, при решении психологической проблемы о Белинском. Критик позаимствовал здесь фактические сведения, как многим в этом отношении он обязан и Надеждину. Но, во-первых, ни Надеждин, ни Боткин в сущности не сказали ничего своего по истории европейского романтизма, а повторили то, что давно уже стало общим местом на Западе. Они были лишь посредниками между Белинским и западной наукой, которая для него не всегда была доступна, чему мешали и общие условия его жизни, и в частности недостаточное знание немецкого языка. Однако если внимательно вникнуть в то, что писал Белинский о романтизме в разные годы, то окажется, что и тут он привнес нечто свое, придавая романтизму широкое истолкование как общечеловеческого настроения. Дело, впрочем, не в этом: для нас сейчас важно подчеркнуть, что сфера «влияния» Боткина ограничивается услугой сообщения некоторых фактов (о личном общении друзей говорить не приходится).

Ту же внешнюю роль сыграл и Катков с своими «тетрадками» по Гегелю. Белинский воспользовался ими, но воспользовался по-своему. История дружбы Белинского и Каткова, которую можно проследить по напечатанным письмам, показывает, что в сущности между ними было мало общего, и как-то странно говорить о влиянии Каткова на Белинского, если только не злоупотреблять этим словом.

Сложнее обстоит дело в отношениях Белинского и М. А. Бакунина. Для Ю. И. Айхенвальда это должен быть самый показательный

* В последний раз вопрос о зависимости Белинского от кружка Станкевича и от него самого был рассмотрен Р. В. Ивановым-Разумником («Великие искания», т. III)¹¹.

пример, удобный тем, что, с помощью переписки Белинского, его можно осветить с исчерпывающею полнотой.

Да, Белинский видел в Бакуanine сильную, «львиную» натуру, приписывал ему «дух могущий и глубокий, необыкновенное движение духа, превосходные дарования, бесконечное чувство, огромный ум» (I, 302). Особенно импонировали ему строгая логика Мишеля, знание языков и, следовательно, возможность черпать сведения в первоисточнике. Как было не учиться у Бакунина тому, кто так неутомимо искал истины и вместе со всеми подозревал, что ее абсолютное решение дано немецкой философией. Но тут и обнаружились два характерных факта: во-первых, Белинский никому не позволял держать себя на помочах, потому что хотел оставаться самим собою, и, во-вторых, что в своих философских скитаниях он сохранял цельность личности, что пережитая им эволюция представляет в сущности борьбу его самобытной личности с внешними идейными влияниями и есть весьма важное, органическое явление.

Белинский подвергает необычайно обстоятельному анализу свою дружбу с Бакуниным и приходит к неоспоримому выводу, что их натуры диаметрально противоположны, что авторитет философского друга был чисто внешним и что, оберегая нравственное достоинство своей личности, он не мог не сбросить с себя его деспотического влияния. Бакунин «всегда хотел быть прав, и никогда виноват» (II, 84); он был проникнут такую нетерпимостью, что не позволял никому иметь своего мнения, грубо третировал личность других людей. Белинский «стонал» под его авторитетом (I, 189) и протестовал: «Уважай мою индивидуальность, мою субъективность, будь снисходителен к самой моей непросветленности» (I, 192). Бакунин не внимал: он хотел деспотически властвовать и не только над мыслью, но и над чувствами Белинского, посягал даже на свободу его эстетических суждений, хотя сам же говорил, что Белинский помог ему в «уяснении идеи творчества» (I, 176). Однажды Мишель прямо заявил Белинскому, что у него нет эстетического чувства. «Я видел, — замечает Белинский (I, 295), — что уж подбираются к моей сущности», что деспотизм переходит всякие границы. «Разумеется, — писал Белинский самому Бакунину 12–24 окт. 1838 года (I, 277), — это было тяжким игом, которое самостоятельные натуры не могли долго носить на себе». Он восстал против своего поработителя и сверг его. «Каков бы я ни был, но я — сам по себе, — говорил он ему. — ...У всякого свое призвание, своя дорога в жизни и пр.» (I, 308). Уведомляя в октябре 1838 года Станкевича о своем разрыве с Мишелем, Белинский верно выразился (I, 258): «Уважаю его, — но любить не могу. Много пользы сделало мне его знакомство, но дружба наша была призрак, потому что не вы-

работалась из жизни, а вышла из отвлеченных понятий об *общем*». Здесь не только разгадка того, почему дружба между Белинским и Бакуниным оказалась «призраком», но и ключ к пониманию всей его духовной жизни и кажущейся хаотичности его эволюции, его мнимой «интеллектуальной чересполосицы».

V

Белинский не мог допустить, чтобы его индивидуальность бесследно растворилась в ком бы то ни было. И это, без сомнения, было невозможно. Он был, по словам Герцена, «один из самых свободных людей, не связанный ни верой, ни традициями. Не завися от общественного мнения и не признавая никаких других авторитетов, он не боялся ни гнева друзей, ни ужаса “прекрасных душ”» *.

Свою духовную самобытность Белинский прежде всего проявлял в наиболее близкой ему сфере — в сфере литературной критики. Это была его родная стихия, и с этой стороны вопрос представляется наименее спорным.

Как бы низко Ю. И. Айхенвальд ни оценивал критическую деятельность Белинского, но совершенно несомненно, что последний в высокой степени был наделен эстетическим чувством, даром непосредственного восприятия изящного. В этом отношении с ним не мог сравниться ни один из предшествующих критиков (ни Полевой, ни Надеждин), да и относительно последующих приходится серьезно задумываться, чтобы найти достойного ему соперника. Современники, по крайней мере, те, кто способен был судить о подобных вещах, никогда не отказывали Белинскому в эстетической проницательности. Интересно в этом случае рассмотреть взаимоотношения Боткина и Белинского. Никому, вероятно, не придет в голову Бакунина или Каткова как ценителей искусства ставить выше Белинского. Боткина, без сомнения, можно сравнивать, и его силу в этом отношении охотно признавал и Белинский. И что же? Перечитайте их переписку, и вы увидите, какую независимую позицию занимал Белинский в деле эстетических оценок и насколько глубже воспринимал он поэзию сравнительно даже с Боткиным **. Белинский чувствовал в себе эстетическую силу и вправе был произносить гордые слова, что где речь идет о «непосредственном чувстве для восприятия впечатлений искусства», там ему сам Гегель не указ (I, 266).

* А. И. Герцен. К развитию революционных идей в России. М., 1906. Издание В. М. Саблина. Стр. 110–111.

** См., напр., во II т. писем стр. 67–69, 69–70, 125–127, 130, 133, 207, 218, 334¹².

Ю. И. Айхенвальд старательно перечисляет ошибки Белинского. Ошибки, конечно, бывали: во-первых, никто и не считает его непогрешимым, а сам он менее других претендовал на титул эстетического папы, а, во-вторых, в эстетических оценках, по самому существу дела, промахи неизбежны. Однако было бы величайшей несправедливостью преувеличивать значение сделанных Белинским ошибок и вместе с Ю. И. Айхенвальдом утверждать, что «вообще на каждом шагу своего критического пути он становился жертвою аберрации, попадал в неслыханные безвкусицы» и что «правды у него меньше, чем неправды» (10). Н. Л. Бродский, Ч. Ветринский, А. Дерман и др., особенно первый, в достаточном количестве привели факты, опровергающие суровое заключение автора «Силуэтов»*.

Мы, с своей стороны, снова хотим указать на то, что обвинения Ю. И. Айхенвальда возможны лишь вследствие кривого понимания психологии Белинского, вследствие дурного метода, который из-за деревьев не позволил ему увидеть леса. Помимо общего условия, что эстетические суждения никогда не могут отличаться безусловной устойчивостью, что на них влияет ряд привходящих факторов, вплоть до минутного настроения, — нельзя не видеть, что в области эстетики Белинский пережил коллизию теории и непосредственного чувства, как и вообще в своем философском развитии. Абстрактные и абсолютные начала идеалистической эстетики на время заслонили от него живые явления искусства, и он стал резко отрицать то, что, по его мнению, не выдерживает «реакции на вечность». Здесь как раз и находится источник той терпимости, за которую справедливо упрекает его Ю. И. Айхенвальд, забывая, однако, что так оно и должно быть со всяким, кто исповедует абсолютные принципы и хочет быть абсолютно последовательным. В теоретическом введении к «Силуэтам» автор, напр<имер>, выставил категорическое положение (IX), что писателя вполне естественно рассматривать «вне исторического пространства и времени», что «только реакция на вечность определяет его истинную силу и величие», что «только абсолютное служит для него окончательной и верною мерой» и что «если такому анализу он не поддается, такого испытания не выдерживает, то, значит, он не писатель, не художник». Ведь если этот тезис принять во всей его строгости и сделать из него логические выводы, то, разумеется, пришлось бы лишить звания писателей многих, кто все-таки нашел

* Пользуюсь случаем, чтобы исправить фактическую неточность, допущенную мною в статье «Белинский — миф» (Р<усские> вед<омости>, 1913, № 228): фразы Белинского о Пушкине как «русском помещике» были подчеркнуты еще до Г. В. Плеханова А. Л. Волинским в его книге «Русские критики».

себе место на страницах «Силуэтов». Счастье Ю. И. Айхенвальда, что он не отличается той же неумолимой последовательностью, как Белинский. При абсолютном критерии односторонние суждения были безусловно неизбежны: либо Гете — либо Шиллер, либо французская литература — либо немецкая и т. п. * Когда Белинский переболел абсолютным эстетизмом и обрел самого себя, он понял, что существуют, и притом совершенно законно, различные типы и виды творчества; тогда у него всем нашлось место, как он торжествующе уведомлял Боткина в 1840 году (II, 193). Напрасно Ю. И. Айхенвальд утверждает, что Белинский совершенно не был способен на синтез (11). Синтетически охватил он все разнообразие живых проявлений искусства, когда отрешился от абсолютных критериев, когда из-за теории снова увидел подлинную жизнь искусства. Для Белинского это означало лишь возвращение к самому себе, к той широкой и свободной точке зрения, которая блестяще была выражена еще в «Литературных мечтаниях».

Тем не менее немецкая эстетика имела, конечно, существенное значение для Белинского и его читателей. Даже по мнению Ю. И. Айхенвальда, он «был уже близок к тому, чтобы построить русскую критику на единственно законном эстетическом фундаменте», и в 1840 году стоял на «правильной и широкой дороге, выказал серьезное постижение эстетики» (4, 5). Законченной эстетики Белинский не дал, да и не мог дать: не забудем, что ее нет и до сих пор. К тому же он писал об эстетике отрывочно, по разным поводам, и только собирался обобщить свои взгляды по этому предмету.

Белинский сам первый откровенно критиковал свои статьи по теоретическим вопросам искусства. «Вышло что-то неуклюжее и пестрое», — писал он об одной из них Боткину 1 марта 1841 года (II, 215) и вслед за этим прибавляет: «Впрочем, — что же! Если я не дам теории поэзии, то убью старые, убью наповал наши риторики, пиитики и эстетики, — а это разве шутки?» Этой, ближайшей цели Белинский достиг безусловно. И вместе с тем никто более Белинского не сделал для распространения в массе читателей «оседлых понятий» об искусстве. В этом отношении с ним не может идти ни в какое сравнение тот самый Катков, который снабжал Белинского своими «тетрадами» по эстетике. А Бакунину, который открыл ему «новый

* В письме к Н. А. Бакунину от 6–8 апр. 1841 г. (II, 132) сам Белинский говорил: «Художественная точка зрения довела было меня до последней крайности нелепости, и я не шутя было убедился, что французская литература вздор, а о самих французах стал думать точь-в-точь, как думают о них наши богомольные старухи».

мир — мир мысли», он, в свою очередь, «помог к уяснению идеи творчества» (I, 176). Прививая русскому читателю вообще философский взгляд на вещи, Белинский неутомимо внушал ему высокое представление об искусстве и разъяснял те стороны в психологии художественного творчества, которые могут считаться основными и, пожалуй, бесспорными. Не кто иной, как именно Белинский дал русскому читателю философское и эстетическое воспитание.

В Белинском было необычайно ценно как раз то, что в качестве активно-эмоционального характера и прирожденного реалиста он не мог успокоиться ни на какой эстетической догме, а мыслил искусство широко, как часть общей проблемы жизни, в связи с «целью человеческого бытия, или счастья» (I, 129). В своей душе он слышал отзвуки мощного потока жизни, и божественное искусство становилось для него одним из моментов общего процесса. Искусство и жизнь с самого начала соединялись в понимании Белинского в одну прочную ассоциацию; с течением времени эта идея только получала дальнейшую разработку, конечно, с неизбежными отклонениями в сторону. В результате Белинский выработал прочные теоретические основы для литературной критики, поставив ее на социологический и исторический базисы. Только пристрастие или недостаточное знакомство с фактами могли продиктовать Ю. И. Айхенвальду мысль, что Белинский изменил искусству. Н. Л. Бродский уже привел достаточно убедительные доводы против этого утверждения. Прибавим, что тот же Белинский и именно в 40-х годах превосходно формулировал принцип имманентной критики, провозвестником которой считает себя Ю. И. Айхенвальд, и кроме того, исходя из природы искусства, широко обосновал и другие методы литературной критики, которыми волей-неволей, впадая в самоотрицание, принужден пользоваться и автор «Силуэтов»*.

Мы не задаемся целью выяснять, что сделано Белинским для литературной критики и истории литературы. По этому поводу много говорилось другими, да здесь Белинский более, чем где-либо, «за чертой досягаемости»: давно уже он занял исключительное место в истории критики, и никакие нападки не могут уничтожить этого бесспорного факта. Предыдущим мы имели в виду лишь показать, как проявлялась подлинная психология Белинского в области эстетики и критики. Где он остается самим собою, там видно глубокое восприятие изящного, там жизнь бьет ключом и искусство встает перед ним одухотворенными во всей сложности своих элементов.

* В особой статье мы предполагаем подробно высказаться по вопросу об имманентной критике и истории литературы¹³.

VI

Гораздо запутаннее кажется вопрос о философском развитии Белинского. С этой стороны он всегда считался наиболее уязвимым, и в его ахиллесову пяту уже не раз направляли свои отравленные стрелы строгие критики. Всего важнее здесь подвергнуть анализу период бакунинского влияния. Нам дело представляется в следующем виде.

Обязательным условием дружбы Бакунин считал отказ Белинского от своей «индивидуальности» и «субъективности», требование, чтобы тот не был *самим собою*. Некоторое время это как будто удавалось ему: Белинский едва не дошел до полного самоотрицания. «Меня напугали философиєю, — писал Белинский Станкевичу 8 ноября 1838 года (I, 307), — во имя ее меня хотели уверить, что я пошляк, ничтожный человек, потому только, что моя кровь горяча, а сердце требует любви и сочувствия. И я поверил добродушно... Или философия вздор, или ее не понимают. Разумеется, философия отстояла себя в душе моей, а некоторые авторитеты шлепнулись. Теперь дышу свободнее».

В течение лет двух (с 1836 г.) Белинский не мог дышать вполне свободно именно потому, что тот цикл философских идей, который прививал ему Бакунин, многими своими сторонами находился в противоречии с его натурой, и последняя попала в рабское состояние к интеллекту. Прививка была ненормальна, и Белинский, естественно, совершил ряд интеллектуальных грехов.

«Нет, друг мой, — писал Белинский Бакунину 13–14 авг. 1838 года (I, 220), — всякий человек есть явление самобытное и может жить и развиваться только в своих формах. Я много раз принимал истины по их логической необходимости, но они никогда не входили в меня глубоко, а приставали ко мне снаружи и тотчас отваливались. И потом жизнь меня наводила на них — и тогда я принимал их с убеждением». Золотые слова: в них весь Белинский и такая правда, которая сохраняет свое значение по отношению к каждому человеку. У Белинского и нужно различать две категории убеждений: одни неразрывно связаны с его собственными переживаниями и составляют органическую часть его личности, другие «приставали снаружи», усваивались «по их логической необходимости», плавали на поверхности, как масло на воде. «Бакунинский» период, т. е. период фиктианства и гегельянства, характеризуется как раз этой последней чертой. Нельзя сказать, что он прошел для Белинского совершенно бесследно: гегельянство отразилось на строгости его метода, укрепило в нем принцип историзма, углубило и прояснило некоторые эстетические идеи и пр. Время отвлеченности, падающее гл<авным> обр<азом>.

на 1836 год, принесло, по оценке самого Белинского (I, 273), «благодатные плоды», «заставив меня серьезно подумать и передумать об всем, о чем я прежде думал только слегка, и стремиться дать моему образу мыслей логическую полноту и целость». И в этот период ум Белинского не прекращал самостоятельной работы. Получая мысли от Бакунина «готовые, как подарок», он усваивал их и перерабатывал «жизнью своею, ценою слез, воплей души». Лишь после этого, прибавляет Белинский в письме к Бакунину (I, 227), «они вошли глубоко в мое существо и сообщили мне ту *разумную прозрачность*, о которой ты говоришь мне в своем последнем письме». Мало того, Белинский с справедливой гордостью подчеркнул и свою самостоятельность (I, 228): «Так в горниле моего духа выработалось самобытное значение великого слова *действительность*». Он не отказывался от своего права критически относиться даже к самому Гегелю: «Глубоко уважаю Гегеля и его философию, но это мне не мешает думать (может быть, ошибочно: что до этого?), что еще не все приговоры во имя ее неприкосновенно святы и непреложны... Премахи и непонимание возможны и для людей абсолютных, граждан спекулятивной области, и, следовательно, всему верить безусловно не годится» (письмо к М. А. Бакунину, 12–24 окт. 1838 г.; I, 266). Но все же зависимость Белинского от Бакунина не подлежит сомнению. И это был для него момент глубоко-драматический.

Драма его состояла в том, что тут произошла коллизия живой жизни с абстрактными, абсолютными началами. «Фихтианизм, — подводил итоги Белинский в том же письме (I, 276), — принес мне великую пользу, но и много сделал зла, может быть, оттого, что я не так его понял: он возбудил во мне святотатственное покушение к насилчанию девственной святости чувства и веру в мертвую, абсолютную мысль». Та же история повторилась и с гегельянством. Вся суть сводилась к вопросу об общем, об абсолюте, с одной стороны, и частном, индивидуальном, — с другой. В этом скрытый смысл бесконечных толков о «действительности». Белинский сначала принял тот взгляд на жизнь абсолютную, который развивал перед ним более сильный в философии Мишель, но в конце концов он восстал на защиту живой действительности, всего конкретного и прав личности. Из писем Белинского видно, что этот протест начался у него в сущности очень рано. «Я знаю, — писал он 14 авг. 1838 года Мишелю (I, 219), — что должно стремиться к освобождению от субъективности, к абсолютной истине; но что ж мне делать, когда для меня истина существует не в знании, не в науке, а в жизни?» Бакунин мог «пламенеть неистощимую любовью к Богу, но Богу как субстанции всего сущего» и в то же время совершенно не любить «субъекты и образы индивидуальные» (I, 302; письмо к М. А. Бакунину

от 12–24 окт. 1838 г.). Для активно-эмоциональной натуры Белинского эта было нечто совершенно неприемлемое. Руководимый «совестью и здравым смыслом» (I, 274), он с проклятиями обрушивается на «это ненавистное общее», «этого молоха, пожирающего жизнь» (II, 60), потому что он понял, что субъект сам себе цель, а не «средство для мгновенного выражения общего» (II, 213). «Кто говорит,— рассуждает Белинский в письме к Боткину от 16 дек. 1839 года (II, 15),— что надо стремиться к общему, надо страдать и трудиться и бороться, чтобы почитать себя вправе на личное блаженство,— того я буду слушать, перед тем я обвиню себя в тяжких грехах, в совершенном недостойнстве», но он отказывается слушать того, кто стал бы доказывать, «что жить должно только в общем, презирая личное и субъективное» (II, 15). Еще в октябре 1838 года Белинский утверждал в письме к Бакунину (I, 271): «У меня надежда на выход не в мысли (исключительно), а в жизни, как в большем или меньшем участии в действительности не *созерцательно*, а *деятельно*». И в самом деле, каким бы «резонером и рефлексивщиком» временами он ни являлся, он «никогда не менял человека на книгу», и как скоро пред ним представляли «дивные явления действительности, в искусстве и жизни», он «посылал к черту свою рефлексию» (II, 61). В бакунинский период Белинский писал «абсолютные статьи», по его выражению. Исключительно в этом и была его ошибка, которую он сам сознал, осудил и верно объяснил. Это была известная аберрация его философской мысли, продолжавшаяся очень короткое время и не повторявшаяся ни до, ни после этого. Преступление Белинского было чисто интеллектуальным. В какой бы «шовинизм» ни впадал он в это время, какие бы хулы ни изрекал он на лица и явления, их моральный источник был чист. И знаменитые бородинские статьи, напр<имер>, которые для Ю. И. Айхенвальда являются своего рода *corpus delicti*¹⁴, говорят о пламенном стремлении философски раскрыть идею общества и осмыслить жизнь: это — чистый гимн Общему*. Вопреки мнению автора «Силуэтов», что своими ошибками Белинский обязан исключительно самому себе, нужно признать, что в данном случае самый тяжкий его промах разделял с ним и Бакунин, чье влияние считается столь благотворным. Для историка, впрочем, тут нет никакого особенного греха. Бакунин и его сверстники не были

* Припоминаются по этому поводу слова Герцена («Колокол», № 161): «Какую страшную чистоту надобно было иметь, какую самобытную независимость и бесконечную свободу, чтоб напечатать что-нибудь вроде оправдания Николая в начале сороковых годов? Эту чистоту ошибки поняли те самые люди, которые не могли простить двух стихотворений Пушкину, которые отвернулись от Гоголя за его «Переписку с друзьями»¹⁵.

самостоятельными философами, и немецкая философия неизбежно должна была, по тогдашним условиям, стать единственным светочем, по крайней мере, на долгое время. Все дело было лишь в том, кто как усвоит ее и как воспользуется ею. В середине 30-х годов, под давлением Бакунина, Белинский принес ей в жертву часть своей личности. Устраните мысленно этот факт, и перед вами останется один целостный процесс духовного развития Белинского. Он уже заявил нам, что, кроме наносных убеждений, у него были органические, глубоко пережитые. Их эволюция шла по одному руслу, которое определялось натурой Белинского, ее стремлением к разумному и гармоническому существованию. Уже в «Дм<итрии> Калинине» он ставит вековечные проблемы о смысле и правде жизни. Шеллингизм внушает Белинскому вдохновенный хорал о величии и целесообразности вселенной, который кончается напоминанием человеку об его высоком назначении. В краткую фиктианскую полосу он пишет свою рецензию на книгу Дроздова, которую и Ю. И. Айхенвальд признает «прекрасной». Прекрасной она была не потому, что автор, действительно, развивал здесь настоящие идеи Фихте, а потому, что он выразил здесь себя, говорил о дорогих ему этических принципах. Далее Бакунин на некоторое время замутил чистый поток мысли Белинского, но и тут во всех его крайностях сквозила высокая дума о жизни. Философия была важна Белинскому не в качестве объекта для «логических хитросплетений» (I, 275), а в качестве комплекса жизненных руководящих начал. Как жить, — вот что было главным для Белинского в философии. Пускаясь в философские рассуждения, он не питал ни малейшей претензии на то, что излагает чье-нибудь определенное учение — Шеллинга, Фихте или Гегеля. Он был достаточно добросовестен, чтобы не забывать о том, что у него нет непосредственного и полного знакомства с их учением. Вдохновляемый их высоким идеализмом, он просто *философствовал о жизни*, настраивая и читателей на философский лад, углубляя их представления о мире и его феноменах. Ведь ни Станкевич, ни Бакунин и никто другой в конце концов не давали публике ничего законченного по философии, и Белинский все же совершил больше, чем кто-либо в деле философского воспитания русского читателя. На упрек Станкевича, что он, Белинский, не совсем удачно «резонирует перед публикою», обвиняемый справедливо говорил (I, 345; 2 окт. 1839 г.): «Между моим резонерством с публикою было несколько и такого, что выходило из полноты природы и возвещало ей (публике) такие истины, которые для нее были очень новы, потому что она слышала их в *первый раз* и от *первого* человека. Что за дело, если эти истины читала она в куче вранья и резонерства?.. Истина — как золото: для одного зернышка возятся с пудом песку». Белинский имел право сказать самому Бакунину

в письме от 26 февр. 1840 года (II, 86): «Что я перед тобою в мысли? — ничто, а если и есть что-нибудь, то благодаря тебе же. И что же! Я говорю — меня слушают, понимают, мне верят, и я во многих успел возбудить уважение к философии, которой не понимаю, — и слышавшие тебя с какою-то радостью уверяют меня, что лучше тебя это понимаю». И это потому, что его философствование было жизненным, что в нем сказалось его собственное «я», что, в противоположность Бакунину (как, по крайней мере, понимал его Белинский), он призван был «действовать на других своею индивидуальностью» (II, 86)*. И результаты вовсе не были плачевными. Герцен не без основания думал, что Прудон и Белинский лучше поняли «хоть бы методу Гегеля, чем все схоласты, изучавшие ее до потери волос и до морщин». «А ведь ни тот, ни другой не знали по-немецки, ни тот, ни другой не читали ни одного гегелевского произведения, ни одной диссертации его левых и правых последователей, а только иногда говорили об его методе с его учениками»**. Кн. В. Ф. Одоевский, как мы уже упоминали, не без основания назвал Белинского «одною из высших философских организаций», какие он когда-либо встречал в жизни: «В нем было сопряжение Канта, Шеллинга и Гегеля, сопряжение вполне органическое, ибо он никого из них не читал... У Белинского можно встретить места, где он по предчувствию угадывал Конта» (Р<усский> арх<ив>, 1874, кн. 1)¹⁷. Последняя стадия в философском развитии Белинского — переход к позитивизму — был для него опять органическим моментом и находился в соответствии с общим тяготением 40-х годов в сторону научного реализма***. Таким образом, нужно признать крайне преувеличенной мысль об «интеллектуальной чересполосице» Белинского; факты уполномочивают нас говорить как раз об «органичности и духе живой системы», не в смысле неизменной догмы хотя и возвышенно-идеалистической, а в смысле целостности развития философски настроенного духа; отдельные звенья этой эволюции скреплены прочным цементом — неизменным «я» Белинского.

Освобожденная от оков абстрактности, натура Белинского с прежней жадностью припала к кубку жизни. «Жизнь есть великое благо» и «должна быть дорога каждую минуту» (I, 226). Если Мишель научил его философскому пониманию «действительности», то к этому

* Ср. в III т. писем на стр. 306. Глубоко верный взгляд на русское гегельянство как умственное течение развил С. А. Венгеров в статье «Великое сердце» (Очерки по истории р<усской> литературы. СПб., 1907. Стр. 252–256)¹⁶.

** Сочинения А. И. Герцена. Т. II. СПб., 1905. Былое и Думы, стр. 391.

*** Но Белинский критически относился и к самому Конту. См., напр. в письмах III, 173–176.

он присоединил и свое собственное, весьма существенное открытие. «Но у меня есть еще слово, которое я твержу беспрестанно, — писал он Бакунину 10 сент. 1838 года (I, 240), — и это слово мое собственное, и притом великое слово. Оно — простота. Боже мой, как глубок его таинственный и простой смысл!.. Кто снова не приобрел простоты, утраченной идеальностью, тот не живет и не знает жизни, и жизнь того не знает». «Простота во мне была, когда я забывался, переставал мыслить, или даже, когда и мыслил, но сам собою, без влияния авторитетов, или под влиянием бунта против авторитетов», — писал Белинский Бакунину 10 сент. 1838 года (I, 253). Теперь лозунгом Белинского становится: долой идеальничание, долой ходули! «простота и нормальность» — дороже всего; будь самим собой, будь реальным человеком! Эту мысль, варьируя на разные лады, Белинский не перестает повторять в своих письмах с конца 30-х годов.

Самая плоть имеет свои законные права. Страстный, неистовый Белинский временами отдавался порывам своей чувственности, прекрасно, однако, зная цену подобных «оргий». Это был «разврат отчаяния»: душа, «жадная упоения», искала в нем «полноты жизни» или «минутного самозабвения» от мук неудовлетворенного сердца, которое тщетно тянулось в царство истинной любви*.

«Жить, жить — во что бы то ни стало!» — восклицал Белинский, как некогда умирающий Гофман (I, 226). Проблема жизни всегда занимала доминирующее место во всех его исканиях: таково веление его активно-эмоциональной природы. Сильная индивидуальность, Белинский мучительно занят самоопределением с самых первых шагов своей сознательной жизни, отчетливо понимая, что он решает в сущности общий вопрос о *проблеме личности*. Совершенно непонятно, как можно было просмотреть тот внушительный факт, что вся история

* Если бы суровые пуристы вздумали ухватиться за этот факт, мы напомнили бы им, что сам чистый, «небесный» Станкевич не был абсолютно безупречен в этом отношении. «Януарий! — кается он в письме к Я. М. Неверову от 11 окт. 1837 г. из Карлсбада. — Мы опытни, даже скверно опытни... Мы поклонялись чувственности — и в гадком виде». И он пользовался продажной любовью, делал «отступления — это медицинский вопрос». В письме от 2 окт. 1839 г. Белинский напоминал Станкевичу (I, 347–8), как все они, поклонники «идеального Шиллера», «логически дошли» до такого взгляда на свои отношения к публичным женщинам. «Эстетическое и этическое уважение благоразумного человека к какому-нибудь Рафаэлю, Ариосто, Моцарту, Гете, Ленау, — справедливо говорит Макс Кох по поводу сонетов Шекспира, — вовсе не уменьшится от того только, что они не отрекались в жизни от своей сильной чувственности, без которой, впрочем, они никогда не могли бы создать своих великолепных художественных произведений» (цитирую по книге А. Евлахова «Введение в философию худож. творчества», т. II, стр. 124).

внутренней жизни Белинского сводится к борьбе сильной индивидуальности то с гетерономными принципами, то с трансцендентной моралью, то с бытовыми формами русской жизни. Уже в «Дм<итрия> Калинине» (1831) видна страстная борьба личности с угнетающими ее формами жизни и с гетерономной моралью. Пусть юный автор не находит окончательного решения, но здесь дороже всего общий тон настроения Калинина, умирающего со словами: «Свободным жил я, свободным и умру»*. Под ферулой философского догматизма и трансцендентной морали он посягнул было на права свободной личности, теоретически готов был подчинить индивидуума общему. Но это, как мы знаем, был краткий момент: шеллингизм в его понимании призывало личность на широкий простор Божьего мира, на самоотверженную работу во имя любви к людям; фиктизм было понято им чуть не в революционном смысле, а затем, миновав стадию гегельянства, он снова провозглашает примат человеческой личности, которая стала для него «выше истории, выше общества, выше человечества» (письмо к Боткину от 4 окт. 1840 г. II, 163). *Социальный элемент*, всегда входивший в проблему личности, как ее трактовал Белинский, теперь приобретает сугубую важность. Вдумываясь в историю собственного развития и в жизнь своих современников, Белинский, наконец, прекрасно сознал, что главным источником их неудовлетворенности является оторванность от почвы, изолированное пребывание на «необитаемом острове» кружковщины и абстрактного идеализма (II, 129). «Мир мечтаний — мир призраков и миражей», — писал Белинский Бакунину 9 дек. 1841 года (II, 275), — и кто упорно остается в нем на всю жизнь, тот или делается ограниченным человеком, или погибает страшно». До сих пор мы все, рассуждает он (II, 274), — «исчезающие волны реки, тени преходящие». «Так вон же из мирной и тихой пристани, где только плесень зеленая, тина мягкая да квакающие лягушки, дальше от них, туда, где только волны да небо, предательские волны, предательское небо!» (II, 275). Искомая гармония может быть достигнута лишь посредством соединения идеального с реальным и личного с общим. Дайте смело взглянуть в самое лицо реальной, а не призрачной жизни! дайте ощутить трепет общей жизни! И тогда индивидуум почувствует, как удесятерилась его мощь. Белинский ощутил в себе самом могучее пробуждение социальных инстинктов, неудержимое желание свою волю слить с волей других, свою мысль, свои чувства и свой талант сделать орудием общего блага. Мотив фантазии Станкевича: «Раскаяние поэта» повторился в жизни

* Превосходный анализ «Дм<итрия> Калинина» дает Р. В. Иванов-Разумник в книге «Великие искания», т. III, гл. II (см. то же в соответствующей вступительной статье к собранию сочинений Белинского под ред. Иванова-Разумника).

Белинского и в жизни современной ему интеллигенции — возвращение к людям, чтобы вместе с ними мыслить и страдать, чтобы вместе с ними творить жизнь. Драма этого поколения, однако, в том, что им трудно было слиться с обществом. Общество видело в кучке мятущихся интеллигентов «болезненные наросты на своем теле», а интеллигент в толпе видел «кучу смрадного помету». «Общество право, мы еще правее» (II, 263). А жить надо, и надо жить вместе. «Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельности нет жизни. Источник интересов, целей и деятельности — субстанция общественной жизни». А здоровой общественной жизни нет: «У нас нет ни политической, ни религиозной, ни ученой, ни литературной жизни» (II, 154). Люди с «огромными требованиями на жизнь», с «способностью самоотречения в пользу идеи» принуждены стоять праздными зрителями, лишними в сутолоке жизни. Таинство жизни продолжает, конечно, совершаться где-то в незримых глубинах. Пока — дисгармония, хаос, и «переходное поколение» обречено на трагические муки: это — «люди, для необъятного содержания жизни которых ни у общества, ни у времени нет готовых форм» (II, 263); это — «израильтяне, блуждающие по степи, и которым никогда не суждено узреть обетованной земли» (II, 130). Нельзя надевать колпак Пера Гюнта на того, чье чело украшено терновым венком страдания.

Решая проблему своего личного существования, Белинский в сущности решал задачу всего своего поколения. В его биографии отразилась общая жизнь русской интеллигенции 30–40-х годов. Одаренный «божественной способностью нравственной подвижности», он жил и духовно рос вместе с русским обществом и русской литературой. Вот почему Тургенев называл Белинского «центральной натурой» своей эпохи, человеком, который «всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа, воплощал его вполне, и с хороших, и с дурных его сторон», а Ап. Григорьев, с своей стороны, полагал, что «у него был ключ к словам его эпохи». Мы не повторим мнения Ю. И. Айхенвальда, что ход русской культуры зависел от одного Белинского: нет, культурная жизнь страны определяется совокупностью очень многих факторов, и личность, хотя бы самая гениальная, не может поворачивать жизнь народа по своему произволу, как утлую ладью (употребляя выражение Белинского, сказанное по адресу славянофилов). Но его существование было многозначительно и плодотворно. Попробуйте выкинуть Белинского из истории нашей жизни 30–40-х годов, и вся эта славная эпоха в значительной степени утратит свою яркую выразительность и идейную полноту. История русской литературы и общественности немислима без Белинского.

